

Книга первая

Глава I

Летний вечер, сумерки...

Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены... Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города.

И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы, — весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одета очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими.

Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома.

Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов...

Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, — вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких

признаков жизни, — мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина — это был отец семейства — огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто во все не заботясь, есть ли у него слушатели:

— Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить Господа, может к нам присоединиться. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер.

Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала:

— Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его:

— Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки — девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безлика, безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые — как бы ни были они слепы и ложно направлены — способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней, больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте.

Любовь Христа, ты мне опорой будь,
Любовь Иисуса — праведный мой путь, —

звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий.

Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это признавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его — слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери.

И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, — он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или: «Господь укажет нам путь!» — особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И, однако, — это понимали и он, и другие дети, — Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо.

В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Другие мальчики не занимаются такими вещами, есть тут что-то жалкое и даже

унизительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала Господу», — и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца:

— Грифитс, Грифитс! «Хвала Господу», Грифитс!

Или кричали вслед мальчику:

— Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет?

И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала Господу»! Другие так не делают.

В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом.

В этот вечер, на большой улице с высокими домами, — шумной, оживленной, полной движения, — он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмеище. Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, — и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи.

В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне.

— Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер — два-три раза в неделю уж во всяком случае. — Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. — Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, — прибавляет он.

— Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, — говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему.

— Да, я тоже так думаю, — соглашается тот, заинтересованный незаурядным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на этом лице, когда мальчик поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное по-

стичь психологический и религиозный смысл всего этого, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых.

И все же ему приходилось подчиняться.

Двое младших детей — девочка и мальчик — были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка — слабенькая, худенькая — ничем особенно не выделялась, в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Неудивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание.

А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле Господа, благодаря Его милосердию и любви Христовой.

— Все люди — грешники перед лицом Господа, — провозгласил он. — Доколе они не покаются, доколе не приняли Спасителя, Его любовь и всепрощение, не ведать им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходят на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Благая мысль — какой она дарит покой и довольство!

— Аминь! — торжественно заключила жена.

И старшая дочь Эстер — домашние звали ее Эста, — чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью:

— Аминь!

Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум ждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии.

В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Гриффитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на

ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публику осчастливили третьим псалмом и одарили брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Гриффитс, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Гриффитс, и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Гриффитса-старшего, семейство направилось к миссии.

Все это время Клайд говорил себе, что больше не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паляцы» — сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради его таскают за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пускай старшая сестра ходит по улицам с органом, — ей это нравится. Младшие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он...

— Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Гриффитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих.

— Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь.

— Любовь Христа совершит свое дело, — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. — Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы.

— Я в этом уверена. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен.

Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Евангелическая миссия. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям — в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»

Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.

Глава II

Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий, — в ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйссы Гриффитса — главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный — типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практическим представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Гриффитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; вдобавок он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному бы жил, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и ему еще долго потом тяжело было об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили евангелической миссией в разных городах — в Грэнд-Рэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а последнее время в Канзас-Сити; и всюду окружающие, — по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, — с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер — детей таких родителей! Не раз к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно.

Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущем своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок, — только в этих двух занятиях он кое-что смыслил, — в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство.

Семья Гриффитс жила там же, где помещалась миссия. И квартира и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню, — улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, однако малопривлекательно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Гриффитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями.

Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером сорок на двадцать пять футов: здесь были расставлены рядами штук шестьдесят складных деревянных стульев и перед ними кафедра; стены украшала карта Святой земли — Палестины и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде:

«Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману — тот не мудр».

«Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». *Псалом 34, 2.*

«И что вы — овцы мои, овцы паствы моей; вы — человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». *Книга пророка Иезекииля, 34, 31.*

«Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». *Псалом 68, 6.*

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». *От Матфея, 17, 20.*

«Ибо близок день Господень...» *Книга пророка Авдия, 1, 15.*

«Злой не имеет будущности». *Притчи, 24, 20.* «Не смотри на вино, как оно краснеет... как змей оно укусит и ужалит, как аспид». *Притчи, 23, 31–32.*

Эти всеильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали.

Остальная часть квартиры представляла собою сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек; тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задворки и на деревянные заборы других таких же дворов, затем кухня, она же и столовая, размером ровно в десять квадратных футов, и маленькая кладовая, где сложено было имущество миссии: брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания, и сюда удалялись мистер и миссис Гриффитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посоветоваться.

Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать, или отец, или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую просить совета или помощи (чаще помощи). И здесь же во времена наибольших финансовых затруднений отец и мать сидели и размышляли или, как иногда беспомощно говорил Эйса Гриффитс, молили Бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход.

И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служители которого вынуждены постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки.

Эльвира Гриффитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой с фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою «слова Божия». Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем.

Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии, либо, прослышав о ней, приходили туда позже — странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли, все эти приходившие в миссию мужчины и женщины; чаще это были мужчины: отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как Бог, или Христос, или Божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «аминь» и «хвала Господу» и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию помещения; сборы, как догадывался Клайд, были скудные: их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии.

Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда: насколько он понимал, где-то на Востоке — в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики — обретался его дядя, брат отца, живший совсем по-иному. Этот дядя — его звали Сэмюэл Гриффитс — был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее трехсот рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери — кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, — воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших и Эйсу, и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то Крезом, живущим в довольстве и роскоши там, на Востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день: их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда.

Но ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе, — Клайд рано понял это. Лет в пятнадцать, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С тринадцати лет он стал просматривать газеты (в дом Гриффитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком «мирским» занятием) и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифици-

рованные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики становятся клерками или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах! Что за жалкая унижительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор: ходить в старом платье, спозаранку подниматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой вынуждены заниматься люди физического труда!

Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей, — правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до шестнадцати лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое.

К этому времени в нем заговорил голос пола: его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом: какой у него вид и какой вид у других юношей? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе!

Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод: прямой, точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие волосы и глаза черные, порою печальные. Однако сознание, что его семья так жалка и что из-за профессии и окружения родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порою он пробовал взбунтоваться, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности — он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен — и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые на него бросали девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка?

Однако еще прежде чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал: ах, если бы у него были, как у иных счастливых, хороший воротничок,